

Любимой женщине, на которой хотел жениться, юный Бунин пророчески сказал: "Я буду знаменит не только на всю Россию, а и на всю Европу". Она не поверила. Оставила его, потом пожалела.

«Каждая моя любовь была катастрофа — я был близок к самоубийству... Я хотел покончить с собой из-за Варвары Панченко. Из-за Ани, моей первой жены тоже, хотя я ее по-настоящему и не любил. Но когда она меня бросила, я буквально сходил с ума. Месяцами. Днем и ночью думал о смерти. И даже с Верой Николаевной..."

Фрагмент из мемуаров Ирины Одоевцевой — ключ к природе его характера и таланта.

Бурная потаенная жизнь души. Внутренняя жизнь превышает внешнюю. Обнаженная кожа. Оттого сотворенная им литература дышит страданием и любовью, поэзией и правдой.

В маленьком французском городке, гуляя с писательницей Ириной Одоевцевой, Бунин говорил ей: "У меня ведь душевное зрение и слух так же обострены, как физические, и чувствую я все в сто раз сильнее, чем обыкновенные люди, и горе, и счастье, и радость, и тоску. Просто иногда выть на луну от тоски готов. И прыгать от счастья. Да даже и сейчас на восьмом десятке".

А в молодости обладал столь острым зрением, что видел звезды, различимые лишь через телескоп. И такой же слух: слышал за несколько верст колокольчик, по звуку определяя, кто из знакомых едет. Однажды в гостях ощутил запах резеды. Хозяйка торжествовала: резеды в саду не было. Исходили весь участок, пока не нашли искомый куст.

"Я всегда мир воспринимал через запахи, краски, свет, ветер, вино, еду — и как остро, Боже мой, до чего остро, даже больно!» - характерная запись в дневнике.

Обостренное чувство жизни — рядом с обостренным чувством смерти. Страх смерти преследовал его. "А у меня все одно в глубине души: тысячу лет вот так же будут сиять эти звезды, а меня не будет". Настолько избегал всего, связанного со смертью, что не поехал на похороны горячо любимой матери. Оправдание его, впрочем, в том, что это она, зная необыкновенную впечатлительность сына ("ни у кого нет такой тонкой и нежной души, как у него"), заранее приняла решение.

Отец его был алкоголик. В состоянии невменяемости выстрелил в жену, которая, спасаясь, забралась на дерево и свалилась за мгновение до выстрела, чем сохранила себе жизнь. Может быть, событие так подействовало на маленького Ваню, что обнажило нервы на всю последующую жизнь. Несмотря ни на что, Ваня восхищался отцом. Врожденное умение любить и прощать и понимать людей — часть дара. Но и сам долго, лет до тридцати, как признавался, был способен сумасбродные поступки — все из тех же тайных, глубоких и противоречивых чувств.

Литература была для него живой. Он влюблялся в героинь романов, они снились ему. И днем иногда чувствовал их присутствие. Одну женщину называл Анночкой — оказалось, это об Анне Карениной, жалел, что никогда не встречался с нею.

Тончайшим образом чувствовал и Постигал природу. Умел вглядеться в листву, точно натертую холодным мылом, заметить голубую сахарную пудру в каждой колее, где тень. При этом знал: "Нет... никакой отдельной от нас природы... каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни". И также чувствовал и постигал человека, его движения, высокие и низкие. Знал народ, его быт и нрав, ни в чем не заблуждаясь. В деревне заходил в избы, видел, как рождает четвертый день черная, с огненными глазами, баба, как просит подаяния повязанный платком калека с почти белыми, нечеловеческими какими-то глазами, с фиолетовым от мороза обрубком ноги, нарочно высунутым для жалости. Перечитав пушкинскую "Капитанскую дочку", пронизательно занес в дневник: "Те, которые замышляют у нас переворот, или молоды, или не знают нашего народа, или уже люди жестокосердые, которым и своя шейка — копейка, и чужая головушка — полушка". И эта мысль обернется пророчеством. Болезненная любовь к бытию и его проявлениям ("все мучает меня своей прелестью") породила ненасытную страсть к путешествиям. Проехал и проплыл по всему белому свету. По этой причине называл себя "бродником". И еще по той — что почти никогда не имел своего угла, одни чужие. Это усугубляло ощущение временности земного существования, сравнимого с пребыванием на какой-то узловой станции. Вместе с Верой Николаевной Муромцевой ноябрьским днем 1906 года ступил на борт парохода, плывшего в Палестину — Святую землю. Их совместное плавание по жизни длилось сорок лет с лишним, до его конца. Последняя любовь — в провансальском Грассе, в Париже — молодая писательница Галина Кузнецова, оставившая его и оставившая в его душе незажившую рану, — на самом деле почти ничего не изменила в отношениях с женой." Конечно, он был неровен, неровен, переживал упадки и подъемы настроения. Но на вопрос об отношении к Вере Николаевне отвечал: "Разве я люблю свою руку или ногу? Разве я замечаю воздух, которым дышу?" Когда жена болела, открывался полнее: "Ты для меня больше (чем жена), ты для меня родная, и никого в мире нет ближе тебя и не может быть. Это Бог послал мне тебя". Она уезжала к врачу — "мучительная нежность к ней до слез". Утром входил к ней, двадцать лет минуло, как они вместе: "Клянусь днем твоего рожденья, что я тебя ужасно люблю". Она обретала силы в Боге: "Идя на вокзал, я вдруг поняла, что не имею права мешать Яну лкэбить, кого он хочет, раз его любовь имеет источник в Боге".

А начался их роман так. Он — "новая восходящая звезда", по случайному замечанию-ее матери. Она — статная, красивая незнакомка с обликом мадонны. Столкнулись на выходе из одного московского дома после литературного вечера, где Бунин читал. "Как вы сюда попали?" — "Так же, как вы". — "Но кто вы?" — "Человек". — "Чем вы занимаетесь?" — "Химией". — "Как ваша фамилия?" — "Муромцева". Стали видеться, вместе завтракать, ходить по концертам, выставкам, ему нравилось, что ее пальцы обожжены кислотами, ей — что у него такие синие глаза. Жили невенчаные, Бунин получил развод через шестнадцать лет, обвенчались памятным ноябрьским днем только в эмиграции во Франции.

Бегство в эмиграцию объяснено в трагических "Окаянных днях". В октябре 1917 года он записывает: "А ночью, оставшись один, будучи от природы весьма несклонен к слезам, наконец заплакал и плакал такими страшными и обильными слезами, которых я даже и представить себе не мог".

Общее и личное. Разгул ненависти, нравственный упадок и невозможность принять это и в этом находиться. Жуткая реальность, заставившая его сказать: "Из этого дерева (народа) и дубина, и икона". И опять плач: "Сон, дикий сон! Давно ли все это было — сила, богатство, полнота жизни — и все это было наше, наш дом, Россия!.. А собственно, я и не заметил как следует, как погибла моя жизнь".

Поселившись на небогатой вилле Мон-флери высоко над Грассом, совершая прогул ки по Грассу, он наблюдает французский быт: толпа местных жителей, мычание коров — "и вдруг страшное чувство России".

Оно воплощалось в замечательные страницы. В Грассе написана "Митина любовь", "Жизнь Арсеньева", "Темные аллеи". Бунин в расцвете сил и ждет Нобелевскую премию, а ее все не присуждают. Живут плохо, бедно, едва сводя концы с концами. Ждут премию еще и поэтому. У Бунина портится здоровье и характер. Он и всегда был резко субъективен. Отпускал ядовитые реплики насчет Гоголя, Достоевского, Блока. Толстой был на пьедестале. Кумир — Чехов, и то ерничал по поводу "Вишневого сада". Себе цену знал. Однажды бросил: "А кто — совсем между нами — скажите, в эмиграции равен Бунину?" Непонимание других вело к замкнутости и великому одиночеству, его нарушали редкие случаи веселого и простого общения с окружающими.

В ноябре — особый месяц в биографии Бунина — 1933 года он сидит в кино на дневном сеансе. Свет ручного фонарика отыскивает его в зале. Его просят вернуться домой. Только что звонили из Стокгольма: ему присуждена Нобелевская премия. Долгожданная новость — а радости нет. На месте радости странное чувство опустошения. Потом оно пройдет.

В этот вечер дома не было денег, чтобы дать на чай мальчикам, приносившим поздравительные телеграммы.

В Стокгольме, куда он приехал со своими близкими, шведы говорили: когда наш король протянул нобелевскому лауреату руку и тот пожал ее, нам показалось, что два короля приветствуют друг, друга.

Торжества кончились смехом и печалью. Кто только не являлся с прямыми или завуалированными просьбами денег! Двое предложили купить топор императора Петра Великого. Бунин, со свойственной ему сухой насмешкой, осведомился: это тот, каким он прорубил окно в Европу? Посетители приняли оскорбленный вид: как можно шутить, тут святая национальная ценность, только потому уступаем за 500 франков с ручательством.. На самом деле Бунин денег не считал. Дома давно уже содержал маленькую колонию начинающих литераторов, которым помогал (среди них Галина Кузнецова), — злые языки прозвали их "бунинским крепостным балетом". 100 тысяч франков из премии пожертвовал писателям. И все равно обиженных и недовольных

было больше, чем довольных. А через короткий срок вернулась прежняя бедность. Типичное письмо Бунина: "2 месяца пролежал в постели, разорился совершенно на докторов, потом на бесполезное лечение эмфиземы..." Ему собирают какие-то суммы в Америке, но их едва хватает на те же лекарства.

Кто-то уезжает на родину. Бунину тоже делают намеки. Он слушает русское радио: "Какой-то "народный певец" живет в каком-то "чудном уголке" и поет: "Слово Сталина в народе золотой течет струей"... Ехать в такую подлую, изолгавшуюся страну!"

И с мучительной тревогой за Россию следит, как она воюет с напавшим на нее врагом: "Страшные бои русских и немцев. Минск еще держится.. Взят Витебск. Больно... Вчера в газетах речь Гитлера. Говорил, что установит новую Европу НА ТЫСЯЧИ ЛЕТ". Все, чем Бунин мог помочь цивилизации в ее борьбе с антицивилизацией, это укрывать у себя евреев во время фашистской оккупации Франции.

Шел Нюрнбергский процесс, Бунин признавал чудовищную преступность фашистов, достойных виселицы, но окончательный суд признавал за Богом, а не человеком: "И все-таки душа не принимает того, что послезавтра будет сделано людьми".

В войну от нищеты и голода умерла его парижская знакомая по имени Елена, внучка обожаемого им Пушкина. В конце жизни он напишет: "Все перечитываю Пушкина. Всю мою долгую жизнь, с отрочества не могу примириться с его дикой гибелью". Про собственную смерть он увидит вещий сон: "Сумерки, церковь, я выбирал себе могильное место".

В последних строчках дневника — в мае 1953 года — бесконечная привязанность к жизни: "Это все-таки поразительно до столбняка! Через некоторое ОЧЕНЬ малое время меня не будет — и дела и судьбы ВСЕГО, ВСЕГО будут мне неизвестны!.."

Ольга КУЧКИНА